

В Л А Д И М И Р

МАКАНИН

В Л А Д И М И Р

МАКАНИН

Предтеча



МОСКВА
2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос = Рус)6-44
М15

Оформление серии *Петра Петрова*

Издательство выражает благодарность
Наталье Саниной за помощь в приобретении прав

Маканин, Владимир Семенович.

М15 Предтеча / Владимир Маканин. — Москва :
Издательство «Э», 2017. — 256 с. — (Проза современ-
ного классика Владимира Маканина).

ISBN 978-5-699-76205-7

Когда из жизни уходит любовь, освобождается место для болезни: человек перестает следить за собой, опускается, и если рядом нет близкого друга, все может закончиться очень плохо. Но если находится тот, кто готов разделить печаль и горе, болезнь отступит, и начнется новая полоса в судьбе. Роман Владимира Маканина «Предтеча» — это история знахаря-самоучки, самоотверженно приходившего на помощь безнадежным больным и способного своим щедрым сердцем любить самых никчемных людей. Талант, которым обладает знахарь, — лишь временный дар небес. Но даже за короткое время можно сделать очень много...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-76205-7

© Маканин В., 2014
© Оформление.
ООО «Издательство «Э», 2017

Глава 1

1

Помимо своей чудовищной говорливости, Якушкин передавал энергию внешне совсем просто, и, может быть, слишком просто — из рук в руки; делалось же это втиранием, делалось не всегда и не направо-налево, а исключительно в кризисные ночи, когда умирающий — умирал. Но только чудо исцеления совершалось, *отчуждивший* Якушкин тут же и по каким-то своим знахарским причинам вновь спешил отдалиться и уйти, оставив больного в одиночестве. Приезжая, он лишь навещал: через день, и два, и вот уже через три. Он входил, и, едва слышались его бухающие шаги, больной в постели трепетал и дергался, как трепещет и дергается телом молоденькая женщина перед объятьями; лежащий, он запрокидывал голову, чтобы видеть входящего Якушкина, и, слабо вскрикивая, уже тянул издалека руки к рукам.

Якушкин, перетоптавшись возле постели, садился; он не спешил: минуточку-две старый знахарь не видел больного, и взгляд его застывал; упершийся глазами в паркетину пола или в стертый рисунок

коврика, старик надувался: казалось, он выродит сейчас от натуги некое огромное яйцо, может быть, птенца. Глаза у него округлялись. Он багровел. Склоняясь к больному, мелко и зажданно подрагивающему от нетерпения, знахарь брал наконец ладони его в свои и ласково говорил, хотя в ласковости была и всегда таилась припрятанная угроза:

— Ну, будешь за жизнь бороться? — И смеялся стариковским, погромыживающим вдруг смешком.

Поначалу хватало ему и ласковости, и такта: во всяком случае, не сразу напоминал он умирающему, что тот подонок и скот и что болезнь свою и беду не только заслужил, но еще и недобрал в ней: повезло. Неизменно доброжелательный в первые минуты, Якушкин не говорил умирающему, что тот, если уж по совести, давным-давно должен прикармливать собой червей. Знахарь кивал и даже подкупающе улыбался, показывая желтые стариковские зубы. Лишь после, расспросами вызвав и выманив (или же просто выждав) минуту человеческой слабости, он начинал орать и грубо тыкать: «Чего, чего, сука, хнычешь — думай-ка лучше, в чем перед природой провинился. Ну?.. Небось жрал чрезмерно? Небось на должности лез, отпихивая локтями? Блядовал? Пил?!» — орал Якушкин, а больной, застигнутый и доверившийся, в немощи наскоро соглашался: мол, виновен, такая, мол, жизнь, — однако признание кивком и спешной слезой не смягчало Якушкина; более того, добравшийся до души знахарь тут только и распалялся. Над больным, теперь уже неотрывно, нависал приблизившийся и огромный стариковский череп, на котором под седыми волосами тянулся, темнея, неровный зигзагообразный шрам (в период говорливости шрам зудел, и он скреб его). Знахарь

теперь говорил, бубнил безостановочно, крича больному вдруг и прямо в лицо, — и тот терпел.

Без возможности встать, или же отодвинуться, или хотя бы зажать уши, распластанный, больной лишь дергался, выкрикивая наконец истерзанно и истерично: «...Уберите его от меня, прошу! Не могу-у-у, уберите же изверга!» Изверга, однако, не убирала, никто не входил. Никто даже не заглянул, не сунул, обеспокоившийся, головы в дверь, так как жесткая мера невмешательства непременно оговаривалась с родными перед врачеванием. Лицо в лицо Якушкин бубнил и бубнил ему свое, пока истерика больного не сламывалась и не дробилась в хныканье, в жалобные стоны бессилья, после чего Якушкин сам же и отворачивался как бы с омерзением от жалкого и распластанного, уходя на кухню глотнуть чаю.

Якушкин так и сидел, уставившийся в хлебную крошку, в россыпь крошек на кухонном столе; он вроде бы надолго здесь расположился, но совсем скоро, как и было замыслено, больной из той комнаты («Сергей Степанович!.. Сергей Степанович!..») звал его расслабленно и моляще, потому что без знахаря становилось к вечеру жутко.

Внутренняя тяга, уже приковав (приговорив) больного к этому хаму и крикуну, срабатывала; тяга оказывалась зависимостью: жалок и, конечно же, в чем-то и впрямь «перед природой виновен»; выпивал, к примеру, женщины тоже, но ведь умирающий, больной ведь, и неужели же о той сослуживице *опять* рассказывать? «Сергей Степанович!..» — расслабленно звал он и кликал, однако Якушкин приблизительных покаяний не терпел, не принимал, что и выяснялось немедленно: «Знаю! Знаю!.. Уж

слышал!» (выкладывай, мол, с доньшка!) — грубо перебивал знахарь, едва войдя с кухни бухающими шагами, не успевший допить там чай. Выслушав, Якушкин начинал *дєргать* его вновь, и часа через четыре больной находился в состоянии, близком к обмороку. В околообморочной глубокой слабости больной и засыпал, тогда знахарь уходил. И заметно было — Якушкин уходил, пошатываясь, тоже опустошенный: мол, все свое отдал.

Но отдал он много — не все. В полосе активной говорливости (от полутора до двух месяцев) Якушкин рта как бы и не закрывал и после длительного, яростного врачеванья был в силах сразу же идти к остановке и втискиваться и ехать, стоя в тряском автобусе, к тем *своим и любимым*, кто не разбежался, кто верил и у кого тяга к Якушкину день ото дня уже переросла в некое нешумное родство: они ждали.

Они сидели у тихого студента Кузовкина и его тихой жены Люси, в московской небольшой квартире со скромным уютом: ждали, и Якушкин, успевший набраться в автобусе новой ярости, появляясь, обрушивал голос чуть ли не из прихожей, продолжая произносить один и тот самый, неведомо когда начатый для них и ради них монолог. Неслышным (среди раскатов якушкинского голоса) шагом, не тронув и не спугнув внимающего покоя, студент Кузовкин выходил на кухню, чтобы заварить там зверобой, — заварив, он вносил его тем же неслышным шагом, удерживая в руках выцветший жостовский поднос с чашками. Впрочем, Якушкин шаг его слышал, и чашки замечал, и подмигивал всем — малая, мол, разрядка, пауза в пять минут; первый же и шутил, шутки Якушкина были примитивно детского уровня: *вот и зверобойчик — микробов убойчик!.. С подноса раз-*

бирали чашки, после чего московская квартира становилась сама собой и традиционно теплела. Чашки с горячим целебным пойлом клубились легким парком, на скатерти — вкруговую.

Зверобой пили внаклад с небольшой дозой коричневого расплавленного сахара, в котором огонь разрушил химическую основу, — все беды шли, конечно, от химии; Якушкин, как бы выпрыгивая из передышки, из тихой, в пять минут, паузы, живо и тут же подхватывал. Химия — зло, но химия сама-то откуда?.. В том и боль, что химия проникла, так как люди, хапая, забывали про совесть: люди хотели все большего и большего, отчего и нужны им стали заменители, суррогаты и видимость продукта вместо продукта. Голос Якушкина вновь набирал рокота и крика — человек, мол, в погоне за благами хапает, жадничая и мельчая индивидуально; люди прощают себе пошлость, а зря. Хапанье, загнанное вглубь и совестью не выявленное, ведет изнутри свою разрушительную, хотя и невидимую, работу — там-то и возникает поторапливание и подхлест в погоне за новыми и новыми благами. Там-то и разгоняется самый простейший наш клеточный материал — возникает рак: мщение природы за нашу гонку. Сделанные хапанья вы-то не сочли и забыли, однако же их не забыл изначально совестливый ваш организм — по счету платят, и чем больше оттесняли вы других локтями от общей кормушки, тем мучительнее ждет вас болезнь.

— Сергей Степанович, но известно ведь и другое... — Сидевшие вокруг него на стульях мало-помалу начинали скрытно и грешнически ерзать.

Не возражать они пытались, но хотя бы напомнить, вставив и ввернув словцо, чешущее язык, од-

нако Якушкин им не отвечал и их не слышал: старик говорил сам с собой. Не отвечая, он, впрочем, несколько учел и сместил: человеческая, мол, подлость себя не знает, став столь в изощрении истонченной, что человек не всегда и понимает, что подлость; тем-то больней и тем неожиданней непонимающему расплата. Природа выждет свой час и свой урок. Куда уж проще: человек хапнул квартиру, а более нуждающийся квартиру не получил, — человек, суетный, и не заметил, что нарушил равновесие совести. Однако же узелок завязали. Сочли. И не за такими уж горами и час, и ночь, когда в прямоугольной белизне больничных стен человек, уже понимая — что, не поймет — за что. Непонимающий, будет он криком кричать, вспугивая тишь и длительность ночи, сонносварливой медсестре, которая не сразу и незадаром пришепает к нему, обламывая ампулу, со шприцем в руках: «*Сестреночка*, за что же мне это?..» — старик, передавая интонацию обреченного, ослабил. За вычетом отдельных проблесков Якушкин изъяснялся плохой, корявой речью малообразованного человека — пожалуй, и без логики, скачками. Шести- или пятичасовая речь производила на неподготовленного слушателя впечатление сумбура, если не бреда, и лишь после многократного и с доверием слушанья можно было, уловив, свести его говоренье к той мысли, что беды человеческие от самого человека; если отцедить, он говорил об этом.

Начитавшийся того и не того, надергавший себе в запас и в помощь ученых словечек, он городил, а рассыпав, городил вновь, однако же после каждых примерно десяти минут сумбура искорка, молнийка, что ли, проскакивала, убеждая привыкших и уже притерпевшихся к старику людей, что они *слышат*

его. Вдруг и молнийка проскакивала: быть может, слабый отпечаток ветвистой молнии, что вспыхнула в его сознании впервые таежной зимой, когда он рыл ров. К концу шестого, иногда пятого часа Якушкин выдыхался. Заметно сглатывающий слова и целые их связки, он бормотал все тише, тише, и клевал носом, и яростно вдруг всхрапывал, склонив голову на руки и засыпая, в благоговейном общем молчании. Возникла благоговейная же ясность исчерпанности — и что наконец-то огонь прогорел, печь остыла. «Поужинаете, Сергей Степанович — покушаете?» — спрашивала, трогая, касаясь его плеча, тихая Люся — жена тихого Кузовкина, и это был знак всем им, тихим.

Они поднимались с мест, а Люся уводила старикана, тарашившего со сна глаза, на кухню. Там она придвигала суп с травами и чуть ли не вкладывала ложку ему в руку, осторожничая и дуя на гладь супа, не горяч ли; Якушкин ел, а они мало-помалу одевались в прихожей и расходились, шепотом вызывая перед уходом, останется ли Якушкин ночевать здесь или же его пойдут провожать: и тогда по пути к метро старика можно будет о чем-то своем и совсем личном поспрашивать. Расходились, а он доедал суп, ссутулившийся и согнутый над тарелкой.

Но огонь не весь прогорел, и Якушкин, сонливость вдруг превозмогший, вновь торопился и вновь, стоя и трясясь в городском транспорте, ехал, чтобы увидеться и говорить: чтобы выйти, по выражению Кузовкина, на контакт с медициной. Тихий Кузовкин не был из тех, кто может или способен вывести другого на орбиту, однако он пытался. И появившийся возле них начинающий журналист Коляня Аникеев тоже пытался, из задора.

Было так: с недели на неделю оба звонили, надо-еда, упрасывая, а то и умоляя полужнакомого им врача о разговоре; дневные часы врач жалел или же просто не соглашался, занят; зевая и уже утомляясь, врач говорил: «Ладно. В ночь я дежурю в больнице, пусть ваш знахарь туда и приедет», — и Якушкин, подкрепившийся супцом с травками, приезжал. Якушкин приходил, и врач сразу и почти с первой минуты понимал все, и, как частность, понимал, что для разговора к нему привели, мягко выражаясь, монологиста и что никакого *разговора* не будет и не может быть. И точно: набрасываясь, знахарь для начала винил врача в приверженности к химии и химикатам, затем — в неумении лечить непростое и, наконец, в полном непонимании и недооценке «совести, именуемой также интуицией». Монолог крепчал; время же было то и особенное, когда больница впадает в чуткий сон и когда так хрупко слышны шаги в коридорах.

В ординаторской, опустевшей к ночи, вежливый и терпеливо слушающий врач, однако, не мог выдержать более часа: он морщился, он теребил рукава и тесемки белого халата, а затем совсем уж произвольно подернул шеей раз и другой. Наконец врач прервал: «...Интересное было сообщение. Благодарю вас. На сегодня, мне думается, хватит», — тик же, не унимаясь, продолжал мучить шею и щеку врача. Врач встал — протянул для пожатия руку.

Уловивший ядок иронии, Якушкин со сдержанным гневом отошел в сторонку, где надевал и долго-долго застегивал свое старенькое пальто. Молчал... Под занавес и вежливости ради врач пытался *поговорить хотя бы с Кузовкиным или с Коляней, которые старикана сопровождали. Врач им высказывал*

(не сидя, а уже стоя и уже вполне слагив с шеей) — ну, с теорией, мол, все ясно, пусть ваш дед даст свои лекарственные смеси, я же подумую и сведу его кой с кем из опытных в микроанализе, а там подумаем, а там посмотрим. «Сергей Степанович не дает свои смеси». — «Это почему же?» — «Сергей Степанович считает, что смеси — индивидуальны. (Пауза.) Сергей Степанович для каждого больного подбирает, а также дозирует особо», — и тихий, с шелестом листьев голос Кузовкина сходил на нет.

Врач, искренне недоумевая, пожимал плечами: «Чего же он хочет от меня? — Тут возникла еще пауза, вопрос без ответа, ибо сам Якушкин ничего не хотел: в больничную тишь на контакт с врачешкой старик потащился и поехал, чертыхающийся, лишь после долгих уговоров. — Чего он, собственно, хочет?» И еще пауза, последняя, после которой Кузовкин, заалев, шелестел совсем тихо: «Сергей Степанович хочет, чтобы приняли его метод лечения». — «Какой метод?» — «Он вам только что рассказывал». — «Ну знаете!..» — И врач шепотом, а иногда и не шепотом добавлял, что он, лично, обо всей этой галиматье думает. Якушкин же топтался в сторонке, все еще застегивая пуговицы старенького пальто, и недовольно, громко сопел. На том и расставались.

В ночь летела машина, — старик же, увозимый несолоно, бормотал и бубнил, что расплата за невежество врачешек придет неминуемо и неотвратимо, и придет она не завтра, а сегодня, расплата, мол, не бывает далеко: расплата всегда близко. Студент Кузовкин или же Коляня Аникеев предусмотрительно сажали Якушкина на заднее сиденье, с собой рядом. Таксисты, впрочем, к стариковскому

бормотанью особенно не прислушивались, считая, что везут подпившего дегулю и что бормотанье его в порядке вещей; бывало, конечно, и так, что таксист, ошарашенный, полагал, что везет больного старика с сопровождающим на излечение, и что дело швах, и что не худо бы поторопиться. Коробки и кубы домов, окраинные, стояли с почти полностью погашенными окнами, и машина как бы летела — ночью и в ночь.

Таксист и впрямь вез на излечение, но не больного — врачавателя. Больной же, в постели, в эти самые минуты уже слышал, гипнотически чуял, через ночь улавливая звуки и шорох шин приближающейся, однако еще далекой машины. Истомившийся от тяги, вскрикивая и из всякого пустяка закатывая домашним ночную истерику, больной отворачивался к стене и мертво лежал; он подымал лицо в точную и ту самую секунду, когда старик входил («Сергей Степанович! Родной ты мой, добрый ты мой!..»); легонько трепеща, выворачиваясь в постели усохшим хилым телом, он тянул лагоны, как две высохшие надежды, — и сам же, за лагонями, опережая миг, тянулся ради более скорого соприкосновения с жестоким, но и милосердным источником энергии. Старик брал лагоны в свои, садился — тихонько их тер; больной покрикивал, повизгивал слабеньким голоском и стихал, стихал, стихал.

Говорливость сменялась молчанием; именно в молчаливые, в спокойные его дни по старой дружке и по старой памяти Молокаевы давали Якушкину подзаработать, жалея.

Когда в каменном флигельке на окраине Москвы, где он жил, появлялся свет (первый и вернейший признак якушкинского молчания и оседлости), Молокаев и его жена говорили кому-нибудь из заказчиков: «Советуем очень!.. очень! Прекрасный мастер — и берет недорого». Званный Якушкин работал медлительно, но добротнo, а бывший подмосковный поселок к этому времени уже превратился в длинную (с курсирующим автобусом) улицу незнакомых людей, в улицу Тополиную, которая бурно застраивалась. В шестнадцати- и в двадцатипятиэтажные башни селились люди, и, конечно же, нужен был ремонт. «...Но только учтите (на случай делалась иногда оговорка), он больной, может говорить глупости».

Люди только и знали, что старикан и что живет на инвалидную пенсию; если же заказчик был суров или слишком разборчив, Молокаев и его жена выдавали ему информацию о Якушкине в обратном, более мягком порядке: человек, мол, тихий и болезненный, может иной раз глупость сказать... Но мастер хороший и со вкусом. И берет недорого — и неудивительно, что через год-два уже для текущего ремонта хозяева вновь старикана звали, ища через Молокаевых. На время ремонта они, как повелось, съезжали к своим друзьям, наведываясь в дом редко, так что и задушевная беседа со стариканом им не грозила. К тому же потребность беседовать в Якушкине нарастала понемногу и не вдруг. Нет-нет и осторожно и даже боязливо он касался пальцами шрама на макушке; он где потирал, где гладил его, но уже прикасался — бережными движениями пальцев.

Однако в самые первые день-два-три Якушкин (говорливость в нем только-только оборвалась) ре-